



МАРУСЯ СВЕТЛОВА



СВЕТЛЫЕ
КНИГИ

Божья коровка на яркой траве

Рассказы для души

Маруся Светлова

**Божья коровка на
яркой траве (сборник)**

«Маруся Светлова»

2018

Светлова М. Л.

Божья коровка на яркой траве (сборник) / М. Л. Светлова —
«Маруся Светлова», 2018 — (Рассказы для души)

Книга из серии «Рассказы для души» Сборник рассказов о нашей
ответственности за свою жизнь. Об осознанной жизни в моменте, в любви, в
Боге...

© Светлова М. Л., 2018
© Маруся Светлова, 2018

Содержание

Жизнь после жизни	5
Возрождение	5
Момент истины	11
Она хотела жить...	16
Древо жизни	28
Искушение	33
Больно мне, больно...	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Маруся Светлова

Божья коровка на яркой траве

Жизнь после жизни

Возрождение

Она была хорошо воспитанной девочкой.

Она выросла в приличную, правильную женщину.

Она была такой, как все – воспитанные, скромные, продумывающие умом каждый свой шаг – женщины, озабоченные тем, как они выглядят, что о них скажут. Озабоченные тем, примут ли их – такими, какие они есть.

Честно сказать, она давно уже понятия не имела – какая она есть.

Засунутая с детства в личину долженствования, необходимость все время какой-то быть, как-то выглядеть, проявляться, что-то говорить, носить (как все), она сама не заметила, как перестала быть собой. Обросла личиной и стала личностью, в которой все было ложью: и мысли, и чувства, и лицо – фальшивое, всегда изображающее благополучие.

И давно забыла – и кто она, и какая она.

И уже не знала, кто там, в ней, внутри этой личины? И не доверяла, даже боялась ее – себя настоящую. И просто не могла себе позволить проявиться той, какая она там, внутри, есть. Боялась кому-то открыться, довериться, видя вокруг себя одни личины – такие же правильные, такие же фальшивые.

А потом уже и не могла выпустить себя, словно личина ее заостенела, превратилась в жесткую литую конструкцию.

И стала она как чинная кукла, внутри которой – живая – она существовала...

...Она была скрыта от самой себя – в рамках норм, долгов, правил. В страхах быть непонятой, непринятой.

И тесно ей было в себе. Что-то внутри нее билось. Она сама билась о себя. Билась в себе – и выпустить себя наружу не могла.

Она варилась в себе, и, казалось ей иногда, она там – внутри – загнивает. И когда-нибудь исчезнет совсем, и следа от нее – внутренней, настоящей – не останется. Останется только личина эта – жесткая, с фальшивым лицом, словами, интонациями.

Она жила в подвешенном состоянии. Это состояние – зыбкое, неуверенное – сопровождало ее всегда. Словно не на что ей было опереться и нечем. Не было в ней какого-то стержня или ног, крепко стоящих на твердой поверхности.

Жила она в вязкости, в тугой, плотной вязкости, словно как увязла когда-то – так и не могла выбраться на свободное, чистое пространство.

Страшно ей было в себе, в своем жестком коконе. И одиноко – в своей темнице. Мысли, чувства – все было скрыто внутри, все было невыпущенным, спрятанным.

Но по ночам ей снились сны – цветные, яркие, живые сны, которые повторялись и повторялись, словно реальность эта где-то существовала и она просто периодически попадала в нее, как попадала, выходя из поезда, в другой город.

Снилось ей одно и то же, одно и то же – словно смотрела постоянно повторяющийся фильм...

...Личина была жесткая, прямая, негнувшаяся. Состояла она из жестких колец, сцепленных друг с другом. И в ней билась живая душа. В ней жила суть, истинное ее наполнение: бабочка – яркая, сильная, со свободным размахом крыльев.

Находясь в личине этой, стиснутая ее кольцами, смотрела она сквозь тонкие щели между ними – в мир. И видела там бабочек, живых, ярких бабочек. И думала потрясенно: «Какие красивые!»

Смотрела – стиснутая, сжатая, сквозь щели, – как легко и свободно порхают они, и думала – с огромной-преогромной светлой завистью: «Счастливые!.. Летать могут...»

Чувствуя свою скованность, склеенность в вязкости личины, робко удивлялась: «Неужели и я такая же? Неужели и я могу летать?!»

И не могла допустить мысль, что и она – такая.

Но вдруг – там, во сне – вся эта жесткая конструкция начинала трещать и отваливались осколки ее. И мощная, склеенная от тесноты, в которой жила, но с огромным размахом крыльев проявлялась, открывалась она – истинная. Словно истинная красота появлялась в мире.

Королевскими движениями, достойно, широко расправляла она свои крылья, поражаясь их размаху, красоте и яркости расцветки.

И выпрямлялась в великой своей истинности. И, вставая впервые на ноги свои, ощущала под ногами опору. И, отталкиваясь от поверхности, разворачивала крылья.

И она – летела. И полет ее был чудесным.

Свободный размах крыльев нес ее над миром. Пространство, проплывая под ней, дарило ей ощущение владения миром.

И свободной, свободной-свободной она была. И сильной в своей свободе.

Она была собой. Суть ее вела ее. И она летела от одного цветка к другому, собирая нектар жизни, вкуснее которого никогда ничего не чувствовала. И летала, летала, летала...

И просыпалась в этом состоянии полета, живой жизни, ощущая свободу – чего не было у нее в реальности.

И возвращалась в свою личину. В свои жесткие рамки, кольца, фальшивые слова и выражения лица.

Она просыпалась и чувствовала, знала: этот сон – о ней. О ней внутренней, настоящей, невыпущенной, непроявленной. Она знала это – и не верила самой себе. Не верила в пространство той Вселенной, которая жила в ней, – с яркими мечтами, образами, планами, желаниями, идеями, красочными картинками возможной ее – другой жизни. Жизни, в которой она – свободная, безграничная, парящая над миром, не ограниченная жесткими кольцами, темнотой, страхами.

И она думала с сомнениями: «Неужели я – такая? Неужели там, во мне – такое скрыто?!»

Но она там, внутри, была большая, непознанная. И чувствовала в себе силу эту, потенциал невыпущенный. И от сна к сну все большей она себя чувствовала. И будоражила ее зависть светлая к той бабочке, которой она была во сне, и увеличивала ее желание жить. Жить – как во сне: летать, танцевать – от цветка к цветку. И выпускать, проявлять себя...

...Она была послушной девочкой – всегда. Наученная взрослыми, она слушала других, молчливо соглашалась с ними.

– Ну что, курносая, – говорил, приходя в гости, ее дядя, и щелкал ее по носу. Ей это не нравилось, но, как хорошая девочка, она молчала, не проявляя своих чувств. Хотела она быть такой, чтобы нравиться родителям, потому и вела себя так, как от нее ожидали, – скромно, послушно, соглашаясь со взрослыми.

И все чаще и чаще вела себя как чинная, правильная кукла.

Она никогда не умела постоять за себя, терпела оскорбления мальчишек, которые дразнили, обзывали ее – хорошую и правильную девочку.

И сейчас, став взрослой – правильной, хорошо воспитанной женщиной, – она не выражала несогласия и не стояла за себя.

Терпела громкую, хамоватую продавщицу, которая, словно выбрав ее для насмешек, говорила:

– Ну что, задумчивая вы моя, стоять будем или заказывать?!

После этих слов она еще больше тушевалась и говорила негромко, заикаясь:

– Мне двести грамм докторской...

Она, послушная и старательная, была отличницей в школе. Она получила высшее образование, но занимала в НИИ скромную должность младшего научного сотрудника, в ряду таких же скромных и исполнительных сотрудников, живущих в личинах своей личности.

Их начальник – высокомерный, самовлюбленный мужчина, входя в их комнату, говорил:

– Ну что, непризнанные гении!.. Какие великие открытия вы сегодня совершили?

В его словах всегда звучала издевка. Ей всегда это не нравилось, и она внутри вспыхивала и тут же гасла, привычно себе объясняя: «Он так шутит».

Она была хорошо воспитанной женщиной, поэтому слушала других, оправдывала других, понимала других. Не умея слушать себя, слышать себя, свои желания. Не позволяя себе чувствовать, выражать чувства.

Ее перевели в филиал, далеко от ее дома, не обсудив с ней этот перевод, – и она согласилась с этим, не высказав своих чувств. Хотя ездить туда было далеко и неудобно – тогда как прежде работала она в двух станциях метро. И она несколько раз порывалась подойти к начальнику и сказать, что не согласна с переводом, что ее не спросили. Но сама себя остановила: «Значит, так надо...»

Ей обещали прибавку к зарплате, но не дали ее:

– У института сейчас трудное время, – сказал начальник.

Она опять молча согласилась, хотя внутри почувствовала несогласие, даже обиду. Но промолчала, как всегда, понимая других больше, чем себя, уважая других больше, чем себя.

Подруга взяла у нее платье, чтобы сходить на свидание, да все никак не возвращала, забывала. А потом впрямую сказала:

– Но тебе же оно ни к чему...

И она согласилась, подумав: «Да, мне оно сейчас действительно ни к чему». Хотя внутри испытала какое-то недовольство, несогласие с тем, что за нее, не спросив, распоряжаются ее же вещью...

Сосед, с которым знакома была с детства, став взрослым парнем столько раз возмущал ее, включая поздним вечером громкую, тяжелую музыку. Она ворочалась без сна, не в силах заставить себя встать и пойти к нему, потребовать, чтобы он ее выключил. Однажды – с замиранием сердца – она поднялась на этаж выше, позвонила ему в дверь и произнесла дрожащим от волнения голосом:

– Извини, но уже поздно, мне рано вставать... Не мог бы ты сделать потише...

Сосед, словно не слыша ее, будто она была рыбой, беззвучно пошевелившей губами, словно не видя ее, словно не было ее у него на пороге, молча захлопнул дверь перед ее носом. Музыка продолжала греметь...

Так и жила она. Не стояла за себя. Не высказывала своих истинных чувств. Не выражала себя, своих желаний: давно она забыла – что любила, чего хотела, когда была свободной.

Когда-то, девочкой, любила она петь, и пела громко, счастливо, пока не запретили ей родители.

Сначала папа, морща лоб, посмотрел на нее, поющую, и сказал:

– Может, ты уже замолчишь?! – И добавил с усмешкой: – Певица...

Потом мама раздраженно прикрикнула:

– Хватит голосить!

Она замолчала. Первое время она продолжала петь, когда все уходили из дома. Потом, боясь быть застигнутой, пела про себя, мысленно. Потом замолчала совсем.

И молчала – взрослея. Словно голос ее тоже был заперт в ней.

В ней хранились песни – сотни песен, которые она легко запоминала, едва услышав, и словно отправляла она эти тексты песен туда, вглубь себя, в непрявленность свою.

Только во сне поднимались из нее слова, мелодии. И во сне она пела. И пела легко, словно всю жизнь это делала. Пела красиво, свободно, наслаждаясь самим процессом выпуска себя через слова и музыку.

И эти сны тоже снились ей часто...

... Зал был большим и темным... Темный бархат портьер в ложах отсвечивал в полумраке. Там – в ложах, в партере, на балконе – были люди, сотни людей – она знала это.

Они ждали. Они ждали, когда она, подойдя к краю сцены, расправив плечи, гордо подняв голову, затаит дыхание. Потом вдохнет полной грудью и, начиная тихо, медленно, словно выпуская из себя накопленную в себе музыку, звуки, слова песни, запоеет...

Она делала этот вдох, вбирая в себя все невыпущенные в мир звуки, и начинала петь. Сначала тихо, но свободным потоком, лилась из нее мелодия, потом присоединялись слова, и вот уже громко, легко, мощно лилось ее пение, заполняя все пространство зала. И она пела...

Она пела, пела во сне. Менялись только место и аудитория, для которой она пела.

Она пела во сне – стоя на высоком зеленом холме, залитая солнцем, над бесконечным прекрасным простором перед ней. Пела свободно, громко – позволяя ветру уносить голос, слова песен вдаль, в города – к людям.

Она пела – стоя у открытого окна поезда, выпуская свои песни в пространство полей и лесов, проплывающих за окном.

Она пела, танцуя, кружась в радости свободы, – на танцевальной площадке приморского городка...

Она пела – во сне. И просыпалась – в мелодии, все еще звучащей в ней, в звуке своего свободного голоса. И долго лежала в послевкусии этой свободы – выпускать себя через голос, музыку, слова.

Сны эти снились часто, и после снов таких ей всегда хотелось свободы звучания, проявления себя. Ей так хотелось запеть в голос, но что-то не пускало ее, не позволяло проявить себя.

И она продолжала молчать...

...Что-то менялось в ней – она это чувствовала. Что-то менялось в ней там, внутри. Словно та – внутренняя, настоящая она, – стала увеличиваться и давить на стены личины.

Непроявленные чувства, нереализованные желания, неспетые песни – все накапливалось в ней, концентрировалось, становилось силой, энергией, и она – там, внутри себя – становилась еще больше. И еще теснее ей было в себе, и еще больше хотелось быть проявленной, свободно летящей.

И давление изнутри стало сильнее. Разница между фальшивой личностью и скрытой внутри нее – живой, наполненной ею – становилась все больше.

И однажды это внутреннее давление взорвало ее, и треснула личина мелкими трещинками. И мгновенно сквозь мелкие эти трещины проявились ее чувства. Словно просочились они сквозь щели эти и вытекли слезами.

Сначала увлажнились ее глаза, и слезы стали капать, медленно, просачиваясь из нее. Она впервые за долгие годы заплакала, проявила свои истинные чувства.

И тоненьким голоском пропела она со слезами:

– И... и... и...

Это было первое звучание того, что содержалось в ней. Еще не песня, но уже живые звуки изнутри.

Потом слезы полились потоком, и она уже плакала навзрыд. Плакала и говорила:

– Я так не хочу... Мне так плохо...

И признание это, выпущенные на поверхность истинные ее чувства были мощными ударами по жесткой скорлупе, личине правил, норм, показного благополучия. И трещины – глубокие, сильные – пошли по всей ее жесткой личине.

Потому что правда, признание ее – разбивает все окостеневшее, лживое...

А потом слезы высыхали на ее щеках. Ей казалось, что остались после них живые дорожки на ее всегда сдержанном, застывшем лице. И стало ей легко, словно выпустила она пары, которые больше держать не могла. Но трещины эти, которые появились в ее жесткой конструкции, позволили и дальше всю эту жесткую конструкцию ломать...

На следующий день, словно просачиваясь на поверхность в образовавшиеся трещины, она впервые не согласилась с тем, с чем хотела не согласиться.

После всегдашнего приветствия начальника в ответ на: «Ну что, непризнанные гении...» она произнесла – спонтанно, словно слова эти жили-жили в ней – и вот, наконец, прозвучали:

– Сергей Петрович, эти слова обидны и неприятны, – и посмотрела на него впервые – глаза в глаза, не опуская взгляда в молчаливом согласии.

И он неожиданно для всех вдруг стушевался и сказал:

– Да я так, шучу...

Но с того дня ни разу больше не звучало его приветствие в таком тоне.

А она, сказав «нет» тому, чему хотела сказать «нет», почувствовала, как куски оков отвалились от нее, обнажая ту, которая хранилась внутри.

И пребывала в этом удивительном состоянии несколько дней, привыкая к новой себе, открывающейся в ней.

А однажды вечером сделала то, чего не делала годами. Услышав сквозь сон загрохотавшую над потолком музыку, она вскочила, на ходу набрасывая халат, и поднялась на этаж выше.

– Уважай меня! – сказала она соседу, появившемуся в открытой двери после ее настойчивого звонка. И слова эти, так естественно проявившиеся, тронули ее саму. И она повторила еще раз: – Уважай меня! Ты мешаешь мне спать. Я требую к себе уважения.

И так неожиданно это прозвучало из уст ее – всегда закрытых, такой другой была интонация, таким другим был взгляд ее всегда опущенных глаз, словно боялась она смотреть на людей, и они, чувствуя это, всегда имели власть над ней.

Сосед сделал от двери несколько шагов вглубь комнаты, словно слова ее сдвинули его туда, кивнул головой и сказал:

– Хорошо... – и закрыл дверь.

Спускаясь по лестнице в свою квартиру, она чувствовала, как куски рамок, долгов, несвобод отваливались, осыпались с нее – как куски штукатурки с разрушенных стен, которым не на чем было держаться.

И, вернувшись в свою квартиру, она еще долго сидела в тишине. Ей казалось, что она слышит стук этих падающих, отваливающихся с нее кусков...

Проснувшись утром, открыв глаза, показалось ей, что мир обрушился на нее – звуками, яркостью света. Личина ее исчезнувшая обнажила живую, яркую, наполненную силой, страстью, желаниями женщину. И эта другая женщина теперь воспринимала мир.

Другой мир во всем его масштабе предстал перед ней, словно она – прозревшая, чувствующая – впервые могла осознать его энергию и красоту. Этот яркий мир ослепил, оглушил, потряс ее. Перед ней предстала другая жизнь, другие возможности. И свобода. Свобода движения в любом направлении, принятия любого решения, выражения любого слова, чувства, желания.

И каждое утро она просыпалась словно в другой жизни. В новой, яркой, светом наполненной жизни. И чувствовала в себе перемены – каждый день.

Энергия жизни – проявленная, сильная – бурлила в ней. Желание жить, чувствовать, проявляться поднимало ее в жизнь. Теперь некогда было думать – какой быть, какую позу принять, что делать, что надеть, чтобы другим понравиться.

Она просто была собой. Делала то, что хотела. Говорила то, что думала. Проявляла свои чувства искренне, открыто. Смеялась громко, свободно – когда хотела смеяться. Плакала – когда хотела плакать.

Стала она прислушиваться к своим просыпающимся желаниям, стала задумываться – чего бы ей хотелось? И столько интересного ждало ее впереди.

Голос ее, не спрятанный за стенами препятствий и барьеров, стал глубже и громче. И она стала петь – выпуская себя. Пела, собираясь на работу. Напевала внутри себя по пути на работу. Пела, готовя себе ужин.

Тело ее стало двигаться по-другому, словно она перетекала в пространстве. Она становилась гибкой, плавной. И легкой – не скованной никакой несвободой.

Уже не раз замечала на себе внимательные взгляды мужчин. И чувствовала, как женщина в ней отзывается, волнуется.

И как-то вечером позвонила подруге и твердо сказала:

– Верни мне платье, оно мне самой нужно. – И добавила: – И поскорее...

И, положив трубку, запела, – свободно, сильно, выпуская себя:

– Нечего надеть, что ни говори, Не нравятся платья... Буду одевать с ног до головы Я тебя в объятия...

И, занимаясь привычными домашними делами, все пела и пела припев этой песни, только изменив в нем одно слово:

– Буду одевать с ног до головы Я себя в объятия...

Буду одевать с ног до головы Я себя в объятия...

Момент истины

Она точно знала, что скоро умрет. Сейчас в этом не было уже никакого сомнения. Потому что приехала Лена – любимая ее внучка, выращенная ею, пока дочь с мужем мотались по командировкам. Теперь Леночка приезжала нечасто, только на дни рождения родителей, да ее – любимой своей бабушки. И никогда – просто так.

И то, что она появилась у ее постели неожиданно, словно проявилась в ее нереальной реальности, – говорило само за себя. Она приехала прощаться. Она знала, что пришла пора. Наверное, дочь, Ирина, позвонила и сказала:

– Выезжай, если хочешь застать бабушку живой... Остались считанные дни...

И в то мгновение, когда Лена появилась у ее постели, она, Вера, все поняла. И даже обрадовалась этому. Теперь она точно знала: это произойдет скоро, очень скоро...

– Ты как, бабуль? – спросила Леночка, и слезы выступили на ее глазах, и так уже заплаканных, как ни старалась она скрыть это под слоем косметики, явно наложенной наспех.

– Как видишь, – попыталась улыбнуться Вера, видя, как по Лениным щекам потекли слезы.

Она прикрыла глаза, позволив той плакать открыто. Но сама внутри себя была тиха и спокойна, словно знание, что скоро, очень скоро жизнь ее завершится, сделало ее спокойной, собранной и находящейся вне – над всем, что происходило здесь и сейчас.

– Бабуль, бабуль!.. – почти испуганно проговорила Леночка, и она открыла глаза.

– Я здесь, еще здесь, – сказала она, и протянула свою слабую ладонь к внучке, желая взять ее за руку, и та с готовностью протянула свою – улыбка невольно возникла на лице Веры. Ей была хорошо знакома эта рука – сколько раз водила она внучку за руку, сколько раз Леночка доверчиво вкладывала свою ладошку в ее раскрытую руку, и такое это было теплое, родное прикосновение. И понимала – это одно из последних их прикосновений. Чувствуя, как подступают слезы, опять закрыла глаза.

А когда открыла их, увидела встревоженное лицо внучки.

«Бойся, что вот так закрою – и уже не открою глаз», – подумала Вера и сказала:

– Не бойся, не сейчас... Скоро уже я уйду, ты сама знаешь. Но не сейчас...

Она говорила тихо, медленно, чувствуя свою слабость.

Лена молчала, но уже не плакала, словно признание это сняло с нее напряжение и необходимость делать вид, что она не знает о ее скором уходе.

– Все будет хорошо, Леночка... Все уходят – и я уйду. Пришло мое время, – просто сказала она.

– Никогда не думала, что это случится... Что я вот так буду сидеть рядом с тобой, – Лена осеклась, смутилась и замолчала.

– Думала, – тихо сказала Вера внучке. – Конечно же думала – все об этом думают. Все знают, что их родители, бабушки, дедушки уходят раньше. Вот и наше расставание уже близко, – мягко сказала она и усмехнулась.

И мгновенно ей стало легко, совсем легко, словно спало напряжение всех последних месяцев этой болезни, бесконечных мучительных процедур, смены больничных палат. И она, казалось ей, даже почувствовала себя лучше, словно силы, почти покинувшие ее, появились вновь.

– Думала, бабуль, – неожиданно произнесла Лена, с нежностью глядя на изменившееся, бледное лицо бабушки. – И, знаешь, когда я думала раньше об этом – что все мы уходим, – мне всегда было интересно – с чем люди уходят... Ну вот о чем думает человек на смертном одре...

Она осеклась, и Вера мягко сжала ее руку – мол, продолжай.

– Это такое таинство... Что думают, о чем вспоминают люди перед уходом?.. – осторожно продолжила Лена.

Вера улыбнулась – не могла не улыбнуться. Ей была знакома Ленина пытливость, когда-то давно она сама говорила внучке:

– Если тебе что-то интересно – спрашивай, не бойся, задавай вопросы. Ты жизнь узнаешь, тебе нужно спрашивать, получать ответы.

Долгие годы между ними была открытость – в проявлении чувств, в обсуждении ее детских, подростковых, юношеских секретов. И Лена всегда доверяла ей, своей бабушке: задавала свои «жизненные» вопросы, на которые Вера давала честные ответы. Видно, пришло время не на «жизненные», а на «смертные» вопросы отвечать.

– Ты хочешь спросить, с чем я уйду? – спросила она.

– Ну, я не знаю, могу ли я... Надо ли мне об этом спрашивать... – смутилась внучка.

– Ты уже спросила, детка, – снова улыбнулась Вера. – Конечно, это очень интересно – знать, что происходит у этой черты... – Она замолчала, потом продолжила, все так же тихо, медленно: – Знаешь, я в болезни своей беспокойной и думать-то сильно не могла. Несколько последних месяцев – сама знаешь – были постоянной борьбой за жизнь, борьбой с болезнью. Тут думать некогда было, не до того...

Вера замолчала, прикрыла глаза, словно устала, но легко сжала Ленину руку, чтобы та не волновалась – она еще не уходит.

– А сейчас, – открыла она глаза, – видно, пришло время самой понять, с чем я уйду...

– Я думала, люди, уходя, подводят итог своей жизни, вспоминают, что сделано, вспоминают какие-то важные события, – сказала Лена.

– Нет, они не подводят итог, не перечисляют свои достижения или неудачи... Так, по крайней мере, со мной происходит, – усмехнулась Вера. – Понимаешь, именно на границе со смертью вспоминаешь жизнь, жизнь во всех ее проявлениях, концентрацию жизни, проявленную жизнь... Не успех, не вещи, не заработанные деньги тут подсчитываются. Живая жизнь – вот самое главное, что вспоминается, когда жизнь вот-вот закончится...

Вера замолчала. Трудно было говорить – мало сил оставалось в ней для жизни. Но вскоре продолжила тихо:

– Здесь уже не работают подсчеты, звания, приобретения. Все это неважно – важной становится сама жизнь, и только жизнь. Только это учитывается, это ценится и вспоминается... Вот с чем люди уходят из жизни – с ощущением жизни... Вот что я тут, лежа на больничной койке, перед скорым своим уходом поняла.

– И ты вспоминаешь моменты жизни? Яркие моменты жизни? – тихо спросила Лена.

Вера не ответила, потом произнесла задумчиво:

– Понимаешь, здесь важно вспомнить самое ценное, самое главное в жизни, самое важное, самое яркое – что человек пережил. Это самое дорогое, что хочется взять с собой, с чем хочется уйти, переступить этот порог – в нежизнь...

– Думаю, – тихо сказала внучка, – у тебя в жизни было столько всего, что есть что вспомнить, что взять с собой.

– Нет, – просто сказала Вера. – Не так. В жизни моей действительно много чего было. Только жизни во всем этом было мало. Были страдания, преодоления, трудности, усталость, обиды. Были и радости, и праздники. Но не это вспоминается, не с этим хочется уйти.

– А с чем? – растерялась Лена.

– С ощущением жизни – настоящей, с настоящим, истинным моментом жизни, в котором жизнь была в чистом виде, проявленная, сильная...

– Но ведь у тебя это было? Были такие моменты истинной жизни – с чем ты уйдешь? – уже смело, с надеждой в голосе сказала Лена.

– Да, были... Был один момент. Всего один момент...

– Всего один момент?! – удивленно переспросила Лена.

– Да, единственный раз я это пережила. Но это – главное, что было в моей жизни... С этим я и уйду. И с этим не страшно уходить...

...Это случилось неожиданно, когда муж, выйдя из машины, пошел к калитке, чтобы войти во двор их дома и открыть ворота гаража. Она, сидевшая в машине, просто смотрела ему вслед. И ничего не предвещало того, что случилось мгновение спустя. Она просто сидела и смотрела – на деревья перед их домом, когда-то давно посаженные ими, – высокие рябины и стройные, пушистые ели, – на траву с разноцветными нежными летними цветами, знакомыми ей с детства. Потом перевела взгляд вверх, в небеса, где высоко плыли облака, а под ними пролетали птицы...

Вдруг, словно чувства ее обострились, ощутила она одновременно запахи трав и шум листвы, звуки, которыми было наполнено пространство, – от шума проезжающих машин, до пения птиц и мягкого гула, которым, казалось, гудела вся планета.

Она словно погрузилась в глубины запахов цветов и хвои, бензина и разогретого асфальта, в яркие краски поля и синевы небес.

Она словно прозрела или вознеслась над этим миром. Увидела с высоты пространства городов, полей, морей, потоки рек и потоки людей. И все это она видела словно бы одновременно. Словно она сама стала этим моментом, словно в ней слились эти запахи, звуки, цвета, образы. И она в одно мгновение стала всем – и листом дерева, и его кроной, и корнями, и летящей птицей, и небом. Словно в мгновение почувствовала она все и вся. Весь мир, вся Вселенная осознанно увиделась ею, была прочувствована и протекла через нее – сконцентрировано и явно. И эти ощущения, мгновенно перетекающие сквозь нее, словно слились в один поток реки, и река эта текла через нее, во всем многообразии – многоцветье образов, чувств.

Это было так мощно и сильно, так ново и ярко, что она, замерев, с растерянным и счастливым лицом, пропускала через себя эту реку. И так нестерпимо прекрасно было все то, что в одно мгновение осозналось ею, что Вера заплакала от переполняющих ее чувств, словно ее наполнили, залили ими и они вытекали из нее слезами.

Это было самое яркое, сильное, необыкновенное, что испытала она в своей жизни. Момент, который вобрал в себя всю жизнь...

Лена молчала, словно услышанное лишило ее дара речи.

– А где я была? – спросила она после долгой паузы, и Вера улыбнулась как прежде, до болезни – открыто, ярко, – так тронул ее этот вопрос. Так маленькая Леночка спрашивала в детстве. С этим вопросом влезала во все взрослые разговоры, понимая, что говорят о том, в чем она не участвовала, при чем не присутствовала.

– Ты тоже там была, – улыбнулась Вера. – Ты тоже там была – там был весь мир, сконцентрированный так туго, что в одно это мгновение вместились вся моя жизнь и жизнь всего мира, всей планеты. Там было все. Там были все...

Вера замолчала, подбирая слова, чтобы объяснить то, что так сложно было выразить словами.

– Понимаешь, это было такое удивительное проживание момента... Я словно открылась жизни, и она вошла в меня вся, во всем своем масштабе и величии. Это было такое принятие всего, что меня окружало, что происходило, о чем я даже не думала, чего не осознавала... И все это в одно мгновение осозналось, пережилось мною так сильно, как ничто и никогда в моей жизни...

Лена внимательно слушала, наклонившись к ней, и пытливо смотрела ей в лицо.

– Понимаешь, это было так, словно я жила мимо всего этого и вот – увидела все сразу, в одно мгновение. Как будто вся моя жизнь до этого момента была кусочками, клочками чего-

то целого, не испытанного. Как будто жизнь моя шла где-то в стороне и была отголосками настоящей, сильной, истинной жизни...

Она помолчала, словно вспоминала это проживание, и добавила:

– Как будто я сама была разделена на сотни, миллионы осколков – и вот в одно мгновение собралась в целое, соединив в себе все: и вкусы, и запахи, и цвета – все, в чем была разложена на части...

– А потом? – спросила Лена. – Что было потом?

– Потом... Все, что соединилось, пересеклось во мне, обрушилось на меня – ушло, растеклось обратно – в листья дерева, в его корни, в птиц, в мир, в звуки и запахи этого мира... Сквозь меня прошел поток жизни – и все просто закончилось... Это длилось мгновения, не больше минуты: муж за это время открыл калитку, вошел во двор, открыл ворота, вернулся к машине. Он сел за руль – и увидел меня в слезах. Я плакала, переполненная жизнью, – словно самой жизнью плакала... Плакала от благодати этой, от благодарности, что я это пережила, что я – есть, что живу, что вокруг меня – жизнь...

Вера замолчала, потом, словно собравшись с силами, продолжила:

– Знаешь, я думала, что жизнь – это то, что происходит со мной, в моей семье, на работе. Я думала, жизнь – это то, как я живу, как живут другие люди, что это дела, заботы, какие-то переживания... Но жизнь – она гораздо больше, чем дорога домой или на работу, домашние хлопоты, покупка нового телевизора или засолка огурцов на зиму... Жизнь – это не действие, Лена, я это точно поняла... Жизнь – это не результат: купить машину или стать начальником... Жизнь – это процесс, это чувства, впечатления, ощущения, эмоции. И запах травы – это жизнь, и удивление первому снегу – жизнь, и просто тихий теплый вечер – жизнь. Это наслаждение процессом, это смакование происходящего, это именно проживание того, в чем ты находишься...

Вера замолчала. Потом, глядя на внучку с мягкой улыбкой, сказала:

– Я все это точно поняла... Почувствовала! – поправила она себя. – Мне дано это было почувствовать... Жизнь надо чувствовать...

Она опять помолчала и тихо, еле слышно, продолжила:

– После случившегося я и начала жить... Начала чувствовать жизнь во всем: в том, как красиво варится варенье, как густеет клубничный сироп и как мелодично поют ним пчелы... Я стала проживать каждый рассвет как необыкновенной красоты действо. Я стала смотреть в небеса, чтобы видеть плывущие в них живые облака... Я стала чувствовать жизнь, словно мне открылся вкус к жизни...

Лена молчала, словно завороченная, потом, вернувшись в свое привычное – всегда активное – состояние, сказала:

– Я тоже так хочу. Хочу такое пережить, чтобы было с чем уходить из жизни... Хочу так жить, чтобы жизнь чувствовать...

– Переживешь, – уверенно сказала Вера. – Ты, главное, помни, что самое важное в жизни – чувства, ощущения, проживания момента... Это и есть сама жизнь. Вещи, статусы, карьера – это только способы, средства жить... Сама жизнь – глобальнее, шире и – глубже. Жизнь всегда вокруг тебя – и в глубине тебя... Я – непонятно говорю? – спросила Вера, поймав глубоко задумчивый взгляд Лены.

– Знаешь, бабуль, я не хочу сейчас это понимать... – тихо сказала внучка. – Наверное, умом этого не поймешь, – усмехнулась она. – Я просто сердцем чувствую, о чем ты говоришь... И чувствую, что ты говоришь...

Вера сжала ладонь Лены, сжала, как казалось ей, крепко. На самом деле таким слабым было ее пожатие, что Лена скорее угадала, чем почувствовала его. И в ответ нежно сжала бабушкину слабую ладонь.

А Вера, словно вдруг погружаясь в мгновенный, неожиданно окутавший ее сон, прикрыв глаза, почувствовала головокружение – странное, легкое, мягкое. Словно в каком-то нежном водовороте стало вращаться ее тело и легкость и слабость вдруг покрыли его, проникли в него. И почувствовала, угадала: это – уходит она...

И, мгновенно волнуясь, словно должна была она еще успеть что-то сделать, что-то сказать, что-то увидеть, приоткрыла глаза, из которых уже утекала, уходила жизнь. И в последний ее взгляд на жизнь, которую она покидала, вошел, вобрался поток света от больничных окон с развевающимся краем шторы, гул подъезжающего автомобиля, голоса людей, идущих по больничной аллее, запах лекарств и гречневой каши, готовящейся на ужин, звук играющего где-то радио, яркий лоскут Ленинского платя, в котором уже было не разобрать рисунка, и светлые волосы любимой ее девочки, и ладошка ее, доверчиво покоящаяся в Вериной руке, и глаза ее удивленные, в которых застыл вопрос – и уже был ответ, что она, бабушка ее, уходит сейчас, в этот момент.

Вера словно обняла все это на прощание и вобрала в себя этот мир, этот последний момент жизни, который она успела прожить – ярко, сильно, как момент истины, – в свое сердце. И глубоко вдохнула его.

И в последнем своем вдохе – ушла.

Ушла в иную жизнь, с ощущением этой жизни внутри – самого ценного, что у нее было.

Ушла с ощущением этой жизни – и Леночкиной ладошки в руке.

Лена, все еще не забирая пальцев своей из руки умершей бабушки, вдруг, в одно мгновение этого осознания, испытала яркий, мощный поток чувств, в котором была рука эта, слабая, еще почти живая, теплая, и бабуля любимая, со слабым ее телом, накрытым простыней с больничным штампом, и свет из окна – яркий, сильный, – и развевающиеся шторы, словно там, снаружи, была жизнь, была жизнь и проявлялась в звуках, в запахах, в цветах и красках. И все это – невидимое Лене – словно стало видимым, проявленным. И деревья на больничной аллее, и люди, идущие мимо них и сидящие на скамейках, и высота небес, и громады облаков в них, и масштаб города и городов – вдруг соединились в единый, огромный красочный момент, момент жизни, существующей, продолжающейся несмотря ни на что, торжествующей красками и звуками, живой, яркой жизни, сконцентрированной в едином этом мгновении – как праздник ее, как доказательство, что она была, есть и будет, сколько бы ни уходили люди, унося с собой ее отголоски...

...Она шла по больничной аллее, мимо деревьев, мимо сидящих на скамейках людей. В душе было тихо и светло.

– Я это пережила, бабуль, – сказала она вслух и посмотрела вверх, в небеса. – Есть с чем уходить, – продолжила она с мягкой улыбкой, – но я еще поживу...

И с силой в голосе, с жизнью в голосе – произнесла:

– Я буду жить так, чтобы в моей жизни было много таких моментов истины...

И пошла – в жизнь, зная, зачем она туда идет.

Она хотела жить...

Питер встретил ее дождем. Она похвалила себя, что предусмотрительно положила зонтик не вглубь чемодана, а в сумку. Проходя мимо припарковавшихся перед зданием вокзала машин, с трудом управляя чемоданом, она вертела по сторонам головой, внутренне ликуя от встречи с Питером, куда так любила приезжать.

И, сидя в такси, которое везло ее на Васильевский остров, старалась ухватить взглядом, впустить в себя – питерские пейзажи, здания, мосты, каналы, ощутить атмосферу города, который очень любила.

Казался ей этот город особенным, каким-то очень высоким, духовным, и – глубоким, старинным и очень гармоничным в этой своей высоте и глубине. Она любила приезжать в него, чувствовать его, ходить по его улицам, трогать стены его зданий. Любила сидеть в кафе на Невском, пить кофе со сказочно вкусной выпечкой. Но в этот раз – не будет ей ни Невского, ни прогулок, ни кафе. Командировка получится короткой и насыщенной – гулять будет некогда.

Но, взволнованная очередной встречей с Питером, подойдя к стойке регистрации в гостинице, она сразу спросила:

– Скажите, а здесь рядом, недалеко от гостиницы, есть какие-то достопримечательности?

Девушка-администратор ответила быстро, не задумываясь:

– Смоленское кладбище. Сходите обязательно...

Наташа – удивленная такой «достопримечательностью» – только головой кивнула в ответ. Но, открывая дверь своего номера, пропуская внутрь портье, везущего ее чемодан, задала тот же вопрос. И он ответил скоро, словно заученно:

– Да, конечно, – Смоленское кладбище.

И она, удивленно посмотрев на него, переспросила:

– Кладбище? И это – достопримечательность такая?

– Да, – кратко кивнул мужчина, аккуратно опуская на пол объемный чемодан, – очень рекомендую его посетить.

«Ну, дела... – подумала она с улыбкой, закрывая за портье дверь. – Вот это достопримечательность. Другой не нашлось...»

И решила: не нужны ей такие достопримечательности, не пойдет она ни на какое кладбище.

«А жаль, что ничего интересного рядом нет, – с сожалением вздохнула она. – Быть в Питере и не увидеть Питера...»

Командировка у нее была насыщенная, и конференция, на которую она приехала, и переговоры, встречи – будут проходить в этой гостинице. А ей хотелось бы все же почувствовать Питер.

«Хорошо еще, что из окон видна Нева, хоть так можно ощутить, что живу в Питере...» – думала она, грустно вздыхая.

И, посмотрев на часы, видя, что до начала конференции еще час, начала доставать вещи из чемодана, да скоро это занятие бросила. Чемодан действительно был набит вещами, и надо было делать это методично, понимая – что на вешалки повесить, что отложить для глажки, что пока вообще не доставать – может, и не пригодится в этой поездке.

И как всегда – сама себе удивилась: сколько умудрилась с собой всего набрать, приехав всего-то на три дня. Но ей всегда казалось в таких вот отъездах из дома, из привычной жизни, что хоть там – в гостинице, в другом городе – может она надеть то, что в жизни редко надевала.

И она выкладывала на постель, собираясь в командировку, целую гору вещей, с трудом отбирая то, что все же нужно оставить. Казалось ей – и юбка эта длинная, шелковая, ни разу не надетая, пригодится. И легкомысленная блуза с оборками, которую на работу не наденешь,

а куда она еще ходит? – может пригодиться там. И туфли на высоком каблуке она брала – на всякий случай.

И полную коробочку украшений – на все случаи жизни – взяла с собой. Любила она их покупать, покупала щедро, только вот практически не носила – некуда. Ну, разве что когда в театр выйдет или на день рождения к подруге, отмечаемый в ресторане, – когда надо выглядеть нарядно, достойно.

Поэтому не такое простое дело было – всю эту прорву вещей достать и в маленьком номере всем им место найти. Она отложила его на вечер, когда понятно будет – и какая тут обстановка, и какой ресторан, и как люди одеты.

И пошла завтракать, торопясь успеть до начала конференции. Но, набрав себе еды со шведского стола, не удержалась, позвонила все же Лене, подруге своей институтской, с которой – раз или два раза в год – встречалась, приезжая в Питер по делам.

Звонок этот и реакция подруги ее озадачили. После привычных в такой ситуации ахов, охов, выражающих радость от ее приезда, и разочарованного: «Как не увидимся, да ты что? Ты в Питере и ко мне не заедешь?» – последовал совершенно неожиданный и категоричный – даже требовательный – совет:

– Тогда – если будет у тебя хотя бы час свободного времени между твоими делами-встречами – сходи на Смоленское кладбище. Оно там – совсем рядом, пешком прогуляться можно или на маршрутке доехать...

И, услышав в ответ тишину, горячо продолжила:

– Ты сходи обязательно, там надо побывать... Сходи – не пожалеешь... Само по себе кладбище удивительное, и там еще часовенка есть – святой Ксении Петербургской, куда люди специально приезжают...

Наташа опять мысленно чертыхнулась: «Сговорились они, что ли? Все на кладбище посылают... Делать мне, что ли, нечего – по кладбищу гулять?!»

С детства не любила она это место, после похорон бабушки, которые пережила тяжело, даже – страшно. И потом еще пару раз попадая туда – хороня сотрудницу, молодую женщину, Лерочку, как ласково все называли общую любимицу, умершую внезапно, неожиданно для всех; потом – хороня тетю, мамину сестру. И уходила она оттуда всегда с тяжелым, гнетущим чувством и старалась уйти поскорее, тяжело ей там было – и то: столько мертвых вокруг, в землю закопанных. Жуть! А тут: «Тебе надо обязательно сходить на кладбище!..»

«Не пойду, – упрямо решила она. – Пусть сами ходят на свое кладбище, в свои часовенки!» – подумала она категорично – и чуть не рассмеялась своим словам: словно обиженный ребенок не соглашался с добрым советом взрослых.

Но, неожиданно для себя, изменила решение: «Нет, раз Лена это советует – надо сходить». Что еще делать в те несколько часов, которые у нее будут свободны в эти дни? Не на Невский же ехать, чтобы – доехав – тут же уезжать обратно?!

Налив себе чашку кофе, она положила на тарелку несколько маленьких пирожных – как компенсацию за те, которые она в любимом своем кафе на Невском не поест, – и сидела, расслабленно, глядя, как прибывают на завтрак все новые и новые люди.

Она вдруг вспомнила Лерочку. Эта молодая женщина, почти девочка – тонкая, стройная, полная жизни – была действительно всеобщей любимицей. Удивительным образом вызывала она к себе расположение всех – и женщин-коллег всех возрастов, и мужчин, и начальника – грозного, громкого, которого все боялись как огня.

Для всех она была Лерочкой – так называли ее в организации, где все обращались друг к другу по имени и отчеству. Но она была настолько открытым, добрым, жизнерадостным существом, что иначе и звать ее было нельзя.

– Смотрите, смотрите, какие цветы красивые, – радостно восклицала она, входя в комнату, и все смотрели, бросая работу, на Лерочку, с сияющим лицом державшую в руках яркий букет, и наперебой спрашивали:

– Это кто же тебе подарил?..

– Это от кого такая красота?..

И она так же радостно и открыто отвечала:

– Это я сама себе купила! Сама себя порадовала...

И, видя разочарование или непонимание на лицах сотрудниц, говорила горячо:

– Девочки, ну надо же себя радовать! Ну если сейчас нет мужчины, который цветы может дарить, – надо самой себе дарить!.. Время идет, жизнь идет – каждый день. Жить надо – сейчас, радовать себя – сейчас, не завтра, не послезавтра – сейчас!

И бежала в соседний отдел за большой вазой, стоящей в кабинете их начальника. И оттуда слышался радостный голос, ее восторженное:

– Красивые – правда? Я прямо их увидела и обомлела! И целый день теперь буду любоваться и завтра, и послезавтра – пока не завянут... А потом – другие себе подарю...

И ей, такой радостной, светящейся от любого маленького счастья, – недолго пришлось цветы себе покупать. Появился в ее жизни мужчина, который с таким восторгом на нее смотрел, с таким обожанием следил за тем, как она говорит, что она говорит, что всем было понятно: все это у него серьезно, крепко и надолго. И сам он был крепким, сильным, крепко стоящим на ногах. И Лерочка стала, как сослуживцы в первое время говорили, – как сыр в масле кататься. Но говорили они это без зависти – кому еще, как не такой прекрасной девушке, должны доставаться такие крепкие, крутые мужчины?! О ком, как не о Лерочке, они должны заботиться? Кого, как не Лерочку, должны на руках носить, баловать, лелеять?

И она приходила на работу – из счастливого (а какой у нее еще мог быть?) брака – с очередной радостной историей: куда они ездили, что видели... Или – какое новое платье купил ей муж:

– Девочки, вы не поверите – такое длинное, струящееся по ногам, из такого тонкого шелка, такого глубокого синего цвета, как море, как небо! Просто невероятное счастье его надевать, не то что носить, – говорила она с таким открытым лицом, с такой радостью, что все вокруг и могли только радоваться вместе с нею. Даже пожилые женщины – уставшие от жизни, обремененные ею, – видя Лерочку с такой ее радостью, лишь одобрительно качали головой: мол, пусть хоть она порадует жизни – это же Лерочка...

А когда пришла она на работу – летом, в самый пик жары – в легком шифоновом сарафане и в босоножках на высоких каблуках, щедро украшенных яркими разноцветными камушками и стразами, – необычных, явно очень дорогих, – все только ахнули: до чего хороша! И, обсуждая потом необыкновенные эти босоножки, пришли к выводу: только Лерочке их и носить. На любой другой женщине это смотрелось бы вычурно, даже фальшиво, а ей, с ее неумной энергией жизни, они шли, словно даже в них ее радостное отношение к жизни нашло выражение.

Она радовалась жизни – везде и всегда, так казалось всем. Да так и было на самом деле.

Когда в их профессиональный праздник все сотрудники дружной командой отправились на теплоходе по реке до ближайшего острова, на котором был организован корпоратив с конкурсами, сценками, Лерочка в одной из них играла роль грозной Шамаханской царицы (кому еще, как не Лерочке, играть роль царицы!). Но даже в этой роли умудрилась она всех развеселить. Когда два «раба» тащили ее, сидящую на ковре, по песку, она радостно махала и посылая всем воздушные поцелуи, полностью выходя из роли. Но разве можно было ожидать от Лерочки грозности или серьезности?

И когда неожиданно для всех, как гром среди ясного неба, пришло сообщение о ее смерти, никто не мог в это поверить. Все говорили:

– Не может такого быть! Не может быть!..

Лерочка отсутствовала на работе почти три месяца. Сначала – ушла в очередной отпуск. Потом – написала заявление на отпуск за свой счет, объясняя это семейными обстоятельствами. И то, что заявление ее привозил на работу муж, никого не удивило – может, занята семейными делами, а может, ребеночка ждет, плохо себя чувствует и пока не хочет все это афишировать – кто-то предложил такое объяснение. Потом узнали, что Лерочка на больничном, и никто не заподозрил ничего плохого, наоборот, все дружно решили: точно – забеременела, обследование какое-то проходит...

А потом, на похоронах, так же дружно говорили:

– Такая молодая, ей бы жить и жить...

И ни у кого в голове не укладывалось, как так – за три месяца человек мог сгореть, так неожиданно, так быстро уйти из жизни...

И, против своей воли, вспомнила Наташа, как лежала Лерочка в гробу, измененная неожиданной для всех худобой, с запавшими – не Лерочкиными – глазами и застывшими – казалось, приподнятыми в удивлении – бровями, словно так и не поняла она, не поверила, что ушла, что жизнь ее оборвалась, завершилась...

А сотрудники, видя крест с начертанным на нем именем – «Валерия...», – удивленно переглядывались. И кто-то сказал тихо:

– Была она для нас Лерочкой – Лерочкой и останется...

Начальник, присутствующий на похоронах, к удивлению всех, взял слово и сказал:

– Она успевала жить... Она – успела жить...

И Наташа удивилась тогда точности его слов.

Она – успевала жить. Она успела жить. Она жила – полноценно, ярко, весело, радуясь каждому дню, событию, находя хорошее в плохом, смотря в жизнь ясным открытым взглядом...

Наташа тряхнула головой, словно прогоняя воспоминания, и подумала: чего она вдруг Лерочку вспомнила? Зачем это надо – покойника вспоминать? И ответила себе легко: «Как тут не вспомнить, когда с самого утра все на кладбище посылают?! Поневоле вспомнишь все свои посещения этого неприятного заведения... – И слову невольно улыбнулась: скажет тоже – «заведения». А как по-другому назвать-то его? Организацией не назовешь, обществом тоже, местом встречи – не подходит. Хотя, если разобраться... – И опять, чертыхнувшись, подумала: – Кончать надо разговоры эти кладбищенские, воспоминания эти – пусть и чудесного, светлого человечка, которого можно только по-хорошему вспомнить, с благодарностью за то, что был он в твоей жизни...»

Но до сих пор не понятно ей было: как таких людей чудесных так рано можно жизни лишать, что – похуже не нашлось?! И тогда, узнав о смерти Лерочки, все были потрясены именно этим фактом: как можно Лерочку – их Лерочку – забирать из жизни? Почему именно она? За что? Кому, как не ей, жить?!

Всем это казалось несправедливым, неправильным, но, как говорится, ни с жизнью, ни с Богом не поспоришь.

Был, наверное, в этом какой-то смысл, им неведомый...

На следующий день, обнаружив в расписании заседаний окно почти в два часа, она уверенным шагом вышла из гостиницы, села в быстро подошедшую маршрутку и уже через пять минут оказалась на остановке, откуда было видно ограждения кладбища с открытой калиткой.

– Если вы хотите с центрального входа зайти – вам нужно еще три остановки проехать, – сказал ей водитель. – Тут вы войдете с обратной стороны...

Но она решила не тратить время зря и спустя еще несколько минут вошла в покосившуюся калитку, попав на территорию, поросшую сорной травой, густо заросшую деревьями. И, пройдя несколько десятков шагов, остановилась в растерянности.

– Где же кладбище-то?

Вокруг было запустение, словно тут давно не ступала нога человека. И она пошла дальше, едва угадывая под ногами дорожку. И остановилась как вкопанная, увидев в высокой траве по обе стороны дорожки полуразрушенные каменные надгробия, обломки крестов, поваленные на бок постаменты.

Словно какая-то гигантская рука разбросала эти обломки старых захоронений, и Наташа, остолбенев, взглядом выхватывала все новые и новые покосившиеся надгробия, низкие оградки. Время, трава и деревья почти скрыли их, и эти останки могил, надгробий говорили о старине, о древности больше, чем что-либо виденное ею в этом городе раньше.

И она пошла по едва угадываемой дорожке, с волнением находя эти кусочки старых захоронений, поражаясь их старине – тому, что среди них, а иногда прямо из надгробий росли деревья, которые из когда-то случайно занесенного ветром семечка выросли до огромных размеров...

– Вот это да... – произнесла она вслух. – Какое же это старое кладбище...

Она стояла молча, охватывая взглядом все это запустение – старое, прошлое – видно, что не один год здесь шло разрушение, минуло несколько поколений человеческих жизней, пока могилы эти приходили в упадок. Пока их рушили стихии и люди, которые явно приложили к этому свои руки: на могилах не хватало части барельефов, на постаментах в изголовьях могил отсутствовали кресты или скульптуры. Явные следы вандализма присутствовали во всем этом – и это было печально: как последующие поколения не уважают предыдущие, разрушая следы последнего пристанища человеческих тел.

И она пошла дальше, вглубь, с живым любопытством, словно место это энергию жизни, интереса в ней включило, – и жадно рассматривала все, что попадалось ей по пути: ржавые и покосившиеся кресты, которые слепо смотрели стертыми от времени безымянными табличками. На некоторых едва угадывались цифры: 1813–18... Она рассматривала старинные кладбищенские скульптуры, барельефы, надгробия, на которых еще кое-где проглядывали цифры рождения и смерти, наполовину стертые эпитафии.

И это ощущение старины, ощущение прошлой жизни, былых времен стало еще сильнее. Она с интересом и с волнением от этой встречи с прошлой жизнью – читала сохранившиеся надписи, словно знакомясь с этими прошлыми жизнями людей:

Действительный статский советник, скончался в 1895 году 72 лет от роду...

Первой гильдии купец и жена его, почившая – в день ангела...

Она читала звания их, сословия, профессии, удивляясь, что именно это было написано на могильных плитах:

Отставной майор...

Действительный статский советник...

Военно-машинный квартирмейстер...

Портовый котельщик...

Генерал-лейтенант и супруга его...

«Как визитки, – мелькнула мысль. – Последние визитки – для представления того, кто жизнь оставил...»

И невольно замедляла шаг перед могилками – маленькими, обрамленными каменными гранями, – как маленькими колыбельками для ребенка. Казалось ей сначала: это все – детские могилки, много детских могилок, но – подумала она с надеждой – может, так прежде и взрослые надгробья выглядели. И опять – так удивительно было во всем этом ощущение старины, прошлых обычаев, нескольких поколений прошлых жизней...

Она остановилась, потрясенная теми чувствами, которые испытывала здесь.

Она любила этот город за то, что ярко чувствовала в нем дух прежней жизни, атмосферу старины, запечатленную в домах, мостах, каналах, ровных линиях улиц. И это ощущение прежней жизни – нескольких поколений жизней – было так сильно, что ей легко было представить в этом современном городе, на современной улице с вывесками ресторанов и магазинов человека во фраке или карету, в окне которой мелькнет лицо прекрасной дамы с вычурной завитой прической, в бальном платье.

Приезжая в Питер, она действительно могла часами гулять по его улицам, кататься по каналам Невы на речном пароходике, наслаждаясь встречей с каждым старым мостом, легко представляя себе идущую по нему барышню, или пожилого господина с бакенбардами и в цилиндре, или бедного студента, сжавшегося от сырого ветра, продувающего его скучную одежду.

Прошлое жило в этом городе, никакое настоящее не могло его заглушить. И это было каждый раз удивительно и волнующе – запечатленное прошлое, словно в городе этом несколько жизней продолжали существовать одновременно, и прошлые эти жизни можно было почувствовать, увидеть, ощутить их характер, настроение.

И здесь, на кладбище – месте, где жизни не было, – она ощутила эти прошлые жизни с такой силой, так ярко, что затмило все ее прежние чувства. Это было удивительное ощущение прежней жизни, живое, настоящее.

Здесь эти реальные прошлые жизни реальных людей остались – на могильных плитах, в барельефах, в формах старинных могил. Здесь ощущение прошлой жизни проявлялось в старинном написании букв, в старинных словах, оборотах, в звучании званий, профессий.

Она стояла молча, в тишине. Казалось, что тишиной покрыто все это место – не слышно было ни звука ветра в кронах деревьев, ни пения птиц. И ощущение безжизненности стало еще острее. И острее удивление, что это безжизненное место давало ощущение прежней жизни ярче, сильнее, чем все музеи, мосты, здания этого города с запечатленной в них прошлой жизнью...

«Ради одного этого стоило прийти сюда, – подумала она. – Это действительно достопримечательность, всем достопримечательностям достопримечательность...»

И пошла дальше, углубляясь в эту старинную часть кладбища.

Она шла по едва заметной дорожке – видимо, редко люди ходили здесь, и каждый ее шаг отдавался звуком ломающихся под ногами веточек и шелестом травы. Она остановилась, нервно переступила ногами, понимая, что и границы дорожек этого кладбища, видно, давно были утеряны, и сейчас под ее ногами могут быть могилы, в которых – человеческие останки, – и она ходит по ним...

Но, прислушавшись к себе, ощутила, что ей совсем не страшно. Это здесь, наверху, был хаос, беспорядок в поваленных постаментах, сдвинутых с места могильных плитах, разбитых или полуразрушенных оградках. Там, под ногами, был покой – настоящий покой.

Забыв о времени, слово перенеслась она в другую реальность и шла по дорожкам кладбища. И с удивлением стала все чаще обнаруживать среди старых этих – разрушенных и полуразрушенных – могил новые, современные, из гранита и стали, с современными эпитафиями, с нанесенными фотографиями, с пространными текстами и короткими надписями – и подумала грустно:

«Места на кладбище всем не хватает – вот и переползают на старое кладбище новые могилы...»

И проходя потом рядами современного кладбища, которое уже прочно, тесно вошло на территорию старого – так, что уже среди новых, современных могил кое-где встречались остатки старых, более уцелевших, наверное, оберегаемых родственниками, – и опять поражалась тому, сколько жизни здесь находилось. Сколько остановившейся жизни здесь было. Здесь

лежали тела людей, чья жизнь прервалась, – студентов и молодых девушек, матерей и детей их, жертв военных действий и авиакатастроф...

Она стояла посреди бесконечного количества могил, окружавших ее со всех сторон. Тут были и генералы, и рядовые, и барыни, и гимназисты – целый мир людей – ушедших, прекративших жизни. Здесь были младенцы и старики, моряки и священнослужители, монахи и купцы. Здесь были бизнесмены и студенты, матери и дочери, молодые мужчины, погибшие в военных действиях, писатели и поэты, актеры и просто люди, не отмеченные на гробовых камнях их занятием или должностями, – бесчисленные имена, имена, имена и – годы: жизни и смерти...

– Настоящее царство мертвых, – подумала она. И тут же опровергла эту мысль: – Царство ушедшей жизни. Под каждой могильной плитой – оборванная, завершившаяся жизнь.

Здесь – кончалась жизнь. Здесь – обрывались линии жизни – как последней точкой, припечатанные могильными плитами или надгробиями, помпезными памятниками и остатками могил.

Здесь было тихо и торжественно. Здесь покоились люди – тела людей, чьи души покинули их.

Здесь покоились тела людей, уставших от страданий и страстей, ушедших из жизни по старости или по трагическим обстоятельствам.

И почему-то захотелось плакать, так сильно и чисто захотелось плакать – по всем ним, лежащим под землей: старым и молодым, генералам и краснофлотцам, бизнесменам и матерям, младенцам всех сословий и людям, погибшим в крушении самолета...

И она заплакала – но легко, светло, поднимая лицо к небу, видя себя словно со стороны – такой живой, стоящей среди этих закончившихся жизней.

И – не пошла дальше, к часовенке, словно уже получила все, зачем пришла. Потом медленно вернулась обратным путем в старую, полуразрушенную часть кладбища. Где среди сорной травы валялись куски бывших постаментов. Где на боку, словно уроненные чьей-то мощной рукой, лежали маленькие подобию склепов, как маленькие домики – над могилой ушедшего из жизни человека...

И она медленно шла по едва заметной дорожке в тихом своем состоянии. И подумала, что старинные эти, полуразрушенные, с выцветшими, стершимися памятниками могилы – больше говорили об их обитателях, чем современные памятники и представительные могильные плиты.

И опять читала едва угадываемые надписи на надгробиях или старинных памятниках:

«Квартирмейстер Павловского военного училища, подполковник Гольштауб 1848–1896»

«На сем месте покоится раба Божия супруга коллежского асессора Махова А. В., урожденная Кошель»

И такое удивительное ощущение прикосновения к жизни этих людей она испытала, словно наяву могла увидеть их, представить эпизоды их жизни, их смерти.

Она проходила мимо могил, пребывая в удивительном состоянии погруженности в эти прошлые жизни. И образы людей, которых она никогда не видела, вставали перед ней как живые.

Бледное, с тонкими чертами – лицо супруги коллежского асессора...

Уставший взгляд старика-профессора Санкт-Петербургской академии...

Упрямое, жесткое лицо краснофлотца...

Она уже собиралась повернуть с дорожки, увидев недалеко калитку, чтобы покинуть кладбище, когда едва угадываемая надпись на скромной могильной плите, остановила ее, словно ударила в грудь:

«Здесь покоится Верочка Антипова – гимназистка»

И – что-то такое трогающее за душу было в этой простой надписи, что она остановилась и растерянно подумала:

– Что это я так?..

И тут же поняла, что ее так тронуло.

Еще вчера вспомнила она о Лерочке, в которой была жизнь, которая для всех была и осталась Лерочкой. И здесь – молодая девушка – Верочка, которая, как видно, тоже была и осталась для всех Верочкой – даже в имени на могильной плите.

И ей так захотелось почувствовать, узнать прошедшую жизнь этой девочки. Она закрыла глаза, чтобы и погрузилась в ощущение жизни этой реальной, живой девочки – Верочки, гимназистки...

...Все звали ее Верочкой – как иначе можно было назвать эту милую девочку, которая, казалось, с момента рождения пребывала в постоянной радости, энергии жизни, пытливо и открыто принимая в себя все, что ее окружало. Она была резва, весела – маленькая свободолюбивая непоседа.

Даже дядьки – так называла няня каменные изваяния со строгими, нахмуренными лицами, выступающие из каменного обрамления окон в доме напротив, – не казались ей страшными, хоть няня и пугала ими:

– Вот, смотри – дядьки на тебя глядят... Дядьки сердятся, что ты непослушная такая... – говорила она, капризничавшей девочке, не желающей одеваться или прерывать игру, чтобы идти к маменьке.

Верочка, остановив на мгновения свои капризы, подходила к окну и смотрела на «дядек» этих таким светлым и открытым взглядом, что няня невольно улыбалась. И когда Верочка, держа за руку няню, семенила по темному коридору широкой низкой арки, проходившей под их домом, и, выходя на свет, поднимала голову, чтобы снизу рассмотреть дядек этих, – казалось ей, что они улыбаются и совсем не сердятся.

«Просто притворяются сердитыми», – думалось ей.

Весь мир, который ее окружал, казался добрым. И глядя на мир своим открытым добрым взглядом, через неумную радость, которая переливалась в ней через край, она и людей такими видела. И называла няню свою – пышногрудую, крупную – Варюшкой, а пожилую кухарку Анну – Аннушкой, а маму свою – высокую женщину с прекрасной осанкой и строгим лицом – называла только маменькой.

И, подрастая, она не менялась. Энергия жизни бурлила в ней, заставляя радоваться всему, все замечать, отмечать, пропускать через себя.

Ее радовал свежавывающий снег, который она трогала руками в варежках, связанных для нее няней, потом снимала варежки, ловя снежинки пальцами, которые сразу зябли.

Радовала улыбка молочницы, поднимающейся по ступенькам их подъезда.

Радовали кружевные блины, испеченные на завтрак кухаркой Аннушкой. И Верочка вбежала в кухню, глядя сквозь этот блин, восхищенно говоря:

– Какой красивый, Аннушка! Вот я вырасту и тоже научусь такие блины печь!..

И, заглядывая ей в лицо, спрашивала требовательно:

– Ты ведь меня научишь? Научишь, верно?

– Научу, – довольная похвалой, говорила Аннушка и добавляла: – только это вам, барышня, ни к чему уметь, у вас, небось, своя кухарка будет...

– Ах, Аннушка, ты не понимаешь, – говорила Верочка, – кухарка – это конечно... Но...

И сама не знала, что скрывалось за этим «но», и убегала с кухни счастливая, и садилась за стол, и уминала, не замечая этого, дюжину блинов, щедро поливая их растопленным сливочным маслом, макая солнечный этот масляный блин в белоснежный сахар.

И было это тоже счастьем, тоже – жизнью, которую Верочка чувствовала во всем. И она радостно мчалась на звонок в прихожей, пролетала по длинному коридору и, опережая кухарку, вышедшую открыть дверь, – открывала ее первой, радуясь любому человеку, стоящему на пороге...

И она засыпала – в предвкушении следующего дня, в котором будет и солнечный зайчик на стенах кухни, и кружевные блины, и волнение, когда будет она проходить мимо соседнего подъезда – выйдет ли гимназист Корнеев, который прошлым летом гостил у их соседей по даче, и они не раз встречались глазами, видя друг друга на соседних участках, но ни разу не заговорили. А сейчас, зимой, катаясь с горки на санках с кузиной Ольгой, когда упали они в снег, вывалившись из быстро мчавшихся санок, и, хохоча, выпутывались из снежного плена, – гимназист этот неожиданно оказался рядом и протянул ей руку, и она, взяв его за руку, – резво поднялась и, крепко встав на ноги, посмотрела на него – вся раскрасневшаяся от мороза, и от мокрого снега, и от веселья своего – неудержимого. А он, неожиданно для нее, и аккуратнo, словно боясь потревожить, – отряхнул снег с ее шапочки и волос и сам, зардевшись, как маков цвет, – только кивнул ей и пошел скорой походкой, поднимаясь на горку. И она, помогая подняться Оле, отряхивая ее, чувствовала себя взведенной, напряженной пружинкой, словно в ней проснулись какие-то новые силы, новая энергия жизни, еще большая, чем была. И, несмотря на то что прошел уже почти месяц после этого случая, каждый раз, проходя мимо подъезда, в котором жил этот гимназист, – Верочка испытывала смутное – волнение? тревогу? желание, чтобы он вышел и они бы встретились? И, проходя мимо подъезда, она замедляла шаг. А иногда – останавливалась, похлопывала сапожком о сапожок, словно сбивала снег – и с ожиданием смотрела на дверь. Это движение она увидела у Лизы Горчаковой, которая славилась своей грациозностью и всегда привлекала внимание гимназистов. И надеялась Верочка, что однажды вот так будет грациозно постукивать сапожком о сапожок – и в этот момент он и выйдет...

И иногда вечерами, засыпая, предвкушая новый свой день жизни, она думала – фантазировала, как однажды будет вот так проходить мимо подъезда, и он выйдет, и они заговорят, словно знакомые. И пойдут рядом, пусть и недолго – за домом им нужно будет разойтись в разные стороны: ему – в мужскую гимназию, ей – в женскую. Но что-то такое волнительное было в этой картинке...

И фантазии уносили ее вдаль, на годы вперед, в которых она – взрослая барышня, а он – студент, ее жених. И она думала с волнением, с замиранием сердца: а вдруг – это действительно судьба, раз они встретились вот так – неожиданно? И ей казалось – их встреча на соседних дачах и то, что он, как благородный рыцарь, подошел и помог ей подняться, стряхнул снег с ее шапочки и волос, было предначертанием, знаком свыше.

И засыпала счастливая, в счастливом этом ожидании завтрашнего дня, новых радостей, открытий, чувств. И – любви, которая когда-то обязательно войдет в жизнь Верочки, сделав ее по-настоящему счастливой, словно она была еще не окончательно счастливой. Но казалось ей – предела счастью нет и одно счастье должно сменять другое, все увеличиваясь, увеличиваясь, увеличиваясь. И то, что сейчас, когда она была еще мала, она была так счастлива, говорило лишь об одном: ее ждет такое огромное-преогромное, такое громадное счастье, что порой, думая об этом, ей хотелось плакать, и она иногда плакала – в состоянии такого открытого и благодарного сердца – за то, что так хорошо, так хорошо, так хорошо ей жить...

Она засыпала счастливая и просыпалась счастливая, в энергии – жить, радостно воспринимать каждое событие жизни. Она жила – встречая жизнь, принимая ее, ожидая от нее только даров.

И даже грустные события не омрачали эту ее радость жизни. Вид мертвой утки, которую ошипывала кухарка, приводил ее в ужас, и она, увидев эту сцену, закрывала лицо руками и говорила: «Нет, Аннушка, нет! Не надо!» – и убегала в залу, и утыкалась маменьке в юбку... Но горе это – от встречи с печальной реальностью – не мешало ей тут же забывать о ней и

вечером, ужиная в кругу семьи, сидя со всеми за большим столом, с аппетитом съедать кусочек запеченной утки, восторгаясь ее вкусной корочкой.

И она проживала каждый день в этой бурной энергии – молодой жизни, открытости жизни. Так она чувствовала себя везде – дома, в гимназии, среди подруг. И «Верочка» – имя, которым все ее называли, – выражало всю ее милую радостную суть.

А сколько радости испытала она, когда крестная в день ее, Верочкиного, ангела, холодным зимним днем подарила ей шляпку – пусть и скромную, без богатого украшения, но настоящую дамскую шляпку – как взрослой. И крестная, с улыбкой глядя на радостное лицо ее, говорила:

– Может, и не правильный это подарок – в день ангела, но – не удержалась, больно шляпка хороша – девичья, милая, как Верочка наша...

И Верочка, надев шляпку, закружилась в радостном танце, приговаривая:

– Скорее бы весна! Скорее бы весна! Господи, скорее бы весна...

И кружила по комнате, придерживая шляпку руками. И маменька делала строгое лицо:

– Утомись, егиза! Разве шляпка на твоей голове удержится?! Рано тебе шляпку носить!

И Верочка, остановившись, покрасневшись, топнула ножкой:

– Не рано, маменька. Не рано!

А потом, неделей позже увидела в галантерейном магазине на Гороховой ярко-голубую атласную ленту, в цвет ее глаз, и всплеснула радостно руками – именно такая лента нужна к шляпке! Можно ее по верху шляпки пропустить и концы выпустить, чтобы на шее бантом завязывать. И мчалась домой вприпрыжку, а в подъезде скакала через ступеньку – от внутренней радости. И маменьку легко уговорила ленту эту купить, мол, вы сами говорили, что шляпка на моей голове не удержится. И маменька, улыбаясь, дала добро и сходила вместе с ней за волшебной покупкой. И по пути домой она старалась идти как взрослая барышня. Но не очень хорошо у нее это получалось – разбежавшись, она проезжала по длинной заледеневшей дорожке или засматривалась на длинную, рифленую, в каплях застывшего льда сосульку, упавшую с крыши.

И маменька, глядя на нее, на неумную ее энергию жизни, движения, говорила с улыбкой:

– Господи, как же Верочка наша быстро растет... Ведь уже почти барышня...

И все улыбались этим словам: действительно, Верочка – уже барышня. И всем казалось естественным, что ждет ее прекрасная жизнь, счастливая собственная семья, дети, счастье – а как иначе может быть у Верочки?..

...Она заболела мгновенно, казалось, в один момент – жизнь подкосила ее. Больному горлу она, как всему в жизни, обрадовалась: можно не ходить в гимназию, можно целый день пролежать в постели с романом, тайно взятым все у той же Лизы Горчаковой, которая давно уже дамские романы читала, незаметно беря их из шкафа старшей сестры.

Но уже к вечеру ей стало хуже. Ни теплое молоко с медом, которым поила ее маменька, ни мягкий шерстяной платок, которым укутали ей горло, не облегчали ее состояние. И когда врач, пришедший на другой день, осматривал ее, лицо его стало строгим, и Верочка, ни на мгновение не сомневаясь в своем скором выздоровлении, ждала, что лицо его станет мягче, что он улыбнется и скажет, как говорил ранее, когда она простужалась и он осматривал ее: «Значит так, барышня, будем лечиться...» Потом сядет за стол выписывать рецепт, а нянюшка и маменька будут в почтительной тишине ждать окончания.

Но доктор на нее, Верочку, не посмотрел, а посмотрел на маменьку – так же строго – и молча сел выписывать рецепт, а маменька, словно ее взгляд этот строгий заморозил, ничего не сказала, молча ждала, пока он допишет, и после слов его Верочке: «Выздоровливайте, барышня», – вышла за ним.

И Верочка услышала, как затопали шаги в соседней комнате, как хлопнула дверь, слово все, после молчаливости своей, пришли в движение. И хотелось ей дождаться маменьки, чтобы узнать: что сказал доктор, когда она выздоровеет?

Но она уже опускалась в жар, словно погружалась в горячую воду. И уходила в какой-то горячечный сон, в котором ей снилось, что она плывет в Неве, только вода становится все горячее, и ей тяжело дышать, и не хватает дыхания, чтобы удержаться на поверхности, и она уходит под воду. И в последнем усилии она поднимала голову над горячей этой водой, чтобы вдохнуть воздух, но он тоже был горячим, и его не хватало, и дышать было нечем, словно весь воздух кончился. И она просыпалась, вдыхая глубоко и ощущая, как трудно ей дышать.

И, видя над собой лицо маменьки, склонившееся над ней, с надеждой шептала:

– Маменька, я выздоравливаю?

И слышала в ответ тихое:

– Да, дитя мое... – в котором чувствовалась неправда.

И закрывала глаза. И потом она то выныривала из этой горячей воды, то опять скрывалась в ней.

Спустя еще день, когда под действием лекарств она почувствовала облегчение и пришла в себя, уже осознавала, что больна, сильно больна. Но болезнь была сильнее лекарств, и облегчение – временное, и она опять погружалась в жар, уходила в горячечный сон, в горячую воду Невы, утягивающую ее на дно, где невозможно было дышать.

Но, приходя в себя, выныривая из болезни, все смотрела на шкаф, в котором лежала ее шляпка, украшенная ярко-голубой атласной лентой, и рукой пыталась шевелить, в которой и сил уже не было. И маменька – вдруг поняв, что она слабой своей рукой показать хочет, – достала шляпку эту и на край кресла повесила, чтобы Верочке было ее видно. И та, словно ожив на мгновение, сухими, бледными губами шептала: «Весной... Ленты...»

...Она умирала – удивленно глядя вокруг себя. И застыла в удивлении своем, словно так и не поверив, что она – Верочка, которая так жить хотела, которая для такого огромного-преогромного счастья родилась, – умирает так рано, не успев его испытать...

И она лежала с открытыми глазами – с застывшим удивлением на лице:

– И это – все? И это все – с ней, Верочкой, произошло?!

...Наташа открыла глаза, все еще находясь в ощущениях этих: чужой, но прочувствованной, как своей, жизни.

И пошла к выходу, унося в себе это ощущение – дара жизни и неожиданности смерти. Уже дойдя до калитки, увидела в глубине высокое, сильное дерево – проросшее сквозь каменное ограждение маленькой могилы. И представила, как дерево это корнями своими проросло сквозь прах человеческий, пронзая толщу земли в поисках воды – в поисках жизни.

И это дерево сейчас, в это мгновение – словно символизировало саму жизнь, которая не прекращалась, которая перетекала из праха – в тлен, из тлена в питание для живых растений.

Она стояла перед деревом этим, всей толщиной своего ствола заполнившим внутреннее пространство каменных бортиков маленькой могилы, – и в душе ее была тишина.

Торжество жизни чувствовала она. Не печаль смерти – торжество жизни, которая была, есть и будет. И надо жить, надо жить, надо – успевать жизнь, пока есть возможность жить, пока твой прах не уложат в толщу земли, чтобы на нем росли травы и корни деревьев проникали в угасшее тело твое...

Она вышла из калитки – ощущая только одно.

Она хотела жить. Она – хотела жить.

Это было сейчас такое явное, сильное чувство. Она хотела жить, ощущая каждое мгновение жизни, ее вкус, радость от пребывания в жизни.

Она хотела жить, чувствовать, что живет, что еще – жива, осознавая дар жизни, праздник жизни, который может прерваться в одно мгновение, неизвестно когда, – сейчас она поняла это ясно. И надо успеть жить, успеть прожить, насладиться жизнью по максимуму.

И поняла, зачем брала она столько вещей, уезжая в командировки. На случай жизни она брала эти вещи. На случай ЖИЗНИ, в которой можно радоваться себе, красиво одетой, проживать каждый момент своей жизни – как праздник, требующий смакования ее во всем – в красоте и комфорте вещей, для того и созданных, в новых ощущениях от узнавания жизни. В тишине и внутреннем покое, в созерцании узорного листа обычного растения, стоящего в горшке на подоконнике, который ты видишь каждый день – и видишь вновь.

Садясь в маршрутку, идущую до гостиницы, она решила, что достанет сейчас из чемодана все свои привезенные платья и вечером, выходя к ужину, наденет длинную шелковую юбку, и обязательно нарисует ярко, но не вызывающе – чтобы подчеркнуть эту жизнь на лице своем, обычно спокойном, даже вялом. И наденет украшения, которые только и возит с собой – на всякий случай. Случай наступил – жажда жизни наступила.

И закажет на ужин что-то новое, неизведанное, отменив свою годами укоренившуюся привычку придирчиво изучать меню и выбрать понятные, знакомые, качественные в приготовлении блюда.

И будет наслаждаться едой, смакуя каждый кусочек. И наслаждаться жизнью, вечером этим, музыкой, людьми – всем, в чем будет пребывать.

И спать ляжет – счастливой, как Верочка, в ожидании следующего дня.

И проснется – счастливой, как Лерочка.

И каждый день будет, как девочки эти, встречать с радостью – как дар, еще данный ей.

И – будет жить.

Будет успевать жить.

Будет жить полноценно, сильно – пока Бог даст...

Древо жизни

Электричка уже готова была отправиться, но Зоя успела вскочить в нее, привычно расставив руки, чтобы не дать двери закрыться, как делала не раз, живя в этом динамичном городе: спеша, как сегодня, вскакивая в вагон метро в последнюю секунду. И уже войдя, заняв свободное место, подумала, верно ли она села. В тот ли вагон? Выходить через три остановки ей нужно было из последнего вагона, а она села в первый. Покачав головой, подумала с улыбкой, что могла бы и не прыгать в последнюю секунду – все равно через весь вестибюль идти к другому выходу.

Но, прибыв на место, решила не идти через всю платформу к противоположному выходу, а выйти здесь, где сотни, тысячи раз выходила когда-то, живя в доме рядом с этой станцией метро. Все здесь осталось по-прежнему: та же будка моментального фото у выхода в подземный переход, те же самые магазинчики, у которых Зоя затормозила, с женским любопытством посмотрев на одежду, постельное белье, вспомнив, как не раз тут что-то покупала: то полотенце на кухню, то понравившуюся кофточку. Она начала подниматься по лестнице. И вдруг испытала волнение...

По этим ступенькам поднималась она в первый раз с будущим мужем – он вел ее знакомиться со своими родителями.

По этой лестнице они, только что поженившиеся студенты, неслись по утрам, как всегда опаздывая: не в силах оторваться друг от друга, они с трудом вылезали из постели и потом бежали к метро, взявшись за руки, стремглав летели по ступенькам, наверстывая упущенное время.

По этой лестнице поднималась она – беременная, чувствуя свою тяжесть, неуклюжесть, удивляясь тому, что даже два этих пролета лестницы утомляют ее.

По этим ступенькам поднималась она потом, торопясь домой к маленькой дочке, волнуясь, что на целый день оставила ее со свекровью, которую по-женски ревновала к дочери, к тому, что та остается с ней, обнимает, кормит – делает все, что она, мама, делать должна. Но маме нужно было зарабатывать деньги. И то ли чувство вины, то ли ревность к свекрови ускоряли шаг.

По этой лестнице спешила она – оживленная, скачущая через ступеньку от переполнявшего ее счастья, и здесь поднималась она, погруженная в тягостные мысли о своей несчастливой какой-то жизни: разве о такой жизни она мечтала?!

По ступенькам этим Зоя возвращалась домой, в свою жизнь. В свою квартиру на третьем этаже обычного дома, каких тысячи...

Она остановилась, чувствуя, как волнение все больше захватывает ее.

И что-то вдруг произошло с ней – чудное, непонятное – в этом ее привычном, таком знакомом подъеме по знакомой лестнице, по знакомым ступенькам, словно мгновенно перенеслась она в ту жизнь. Будто попала она в то время, когда ходила этим привычным маршрутом. И сейчас – словно наяву, находилась в своей квартире, в комнате, где стоял их с мужем диван и кровать доченьки, отгороженная платяным шкафом, какие были тогда почти в каждой квартире. Где на полках жили детские игрушки – синий щенок и зайка, кукла Ляля, сохранившаяся еще с ранних лет дочки, и несколько медвежат, подаренных дочери мальчиками на Восьмое марта...

В комнате этой было большое окно, выходившее во двор, густо заросший деревьями.

– Как в лесу живете, – удивлялась ее бабушка, приехавшая первый раз в эту квартиру после их свадьбы. Самой Зое очень нравились высокие сосны, которые росли перед домом. Нравилось гулять там с коляской, сидеть на лавочке, глядя на уснувшую свою детку, дышать

свежим лесным воздухом. Потом, через несколько лет, глядя в окно и ожидая дочь с поздних прогулок, она всегда любовалась их рослыми стволами, которые вносили в вид двора какую-то северную нотку: много таких сосен – ровных, высоких – она видела потом под Питером, в Карелии.

Там, под соснами, многими годами позже, стоял ее сотрудник, когда влюбился в нее, взрослую уже женщину, и дочь ее веселилась, выглядывая в окно из-за штор:

– Мам, опять ведь стоит, вот романтик! Как мальчишка себя ведет...

И она, Зоя, тоже украдкой выглядывала из-за шторы – чтобы удостовериться, что действительно – опять стоит. И, несмотря на то что утомляли эти не нужные ей ухаживания, испытывала радость: приятно все же, когда тебя любят...

– Хотя кто-то любит, – добавляла она тогда, потому что, конечно, очень любви хотела, очень в любви нуждалась, только не в любви этого чужого ей человека.

В этой квартире она десяток раз заливала соседку, интеллигентную пожилую женщину, жившую этажом ниже, которая всегда в таких случаях появлялась – как укор совести, с лицом, на котором просто было написано:

– Ну сколько можно?!.

Но сантехник, вызванный еще в первый раз, сказал:

– Вашей вины тут нет, дом старый, трубы плохие, вы стиральную машину включаете – напор воды поднимается, и трубы текут, прямо в ее квартиру. Это ЖЭК виноват, с ним разбирайтесь...

Но где там – разбираться с ЖЭКом. Поэтому соседка и приходила к ней – с укором в глазах...

Она стояла, прислонившись спиной к перилам, не поднимаясь на поверхность, словно действительно попала в то время, в ту свою жизнь с теми событиями, переживаниями, поступками, чувствами и оставалась в ней, не в силах выйти. Или не желая выйти. Перед глазами проносились фрагменты этой разной жизни.

Она – по-детски влюбленная в своего мужа, счастливая оттого, что засыпает и просыпается на его плече.

Она – беременная, чувствующая себя большой, тяжелой и очень боящаяся родов, как чего-то страшного – ей даже снилось тогда, что она умирает, и она больше всего на свете хотела, чтобы случилось чудо и у нее просто вдруг появился бы ребенок – уже родившийся.

Она – с трудом волокущая детскую коляску на третий этаж этого дома, упрямо делающая это каждый раз после прогулки с дочкой. Она ни за что не хотела оставлять коляску в подъезде.

– Делать тебе нечего, – равнодушно говорил муж, – чего ее таскать все время, пусть под лестницей стоит...

Но даже сама мысль, что коляска будет стоять под лестницей, по которой целый день ходят люди, вызывала в душе Зои возмущение: сколько пыли они на коляску эту нежную – временный домик ее доченьки – натрясут?! Или вдруг какая кошка дворовая в коляску залезет, микробов оставит – как могла она такое допустить?! Вот и таскала эту коляску – на себе, злясь на мужа, на равнодушие его, на нежелание помочь в таком маленьком деле. Может, с того и началось их отдаление, отчуждение, приведшее потом к разводу...

Здесь, в этом доме, в этой квартире были быт и ревность, охлаждение и непонимание. Здесь были ссоры и обиды. И вера в лучшее, которая все таяла и таяла...

И сейчас, вспоминая это, подумала она, что весь тот период был одной веткой ее жизни – с событиями, отношениями, мыслями, чувствами того времени. С разными мелкими веточками – поступками, встречами... Со своим запахом, атмосферой...

И странно было осознавать, что все это – бывшее когда-то живым, наполненным переживаниями, бывшее когда-то ее жизнью – было и прошло. Исчезло, словно и не было ничего...

«Как же так?! Как то, что было жизнью, было тогда важными событиями, сейчас исчезло, словно их и не было, а на их место пришли другие люди, события, другие переживания? Как произошла эта смена, когда, оглянувшись назад, обнаруживаешь целый период – с людьми, отношениями, страстями, от которых и следа не осталось?» – думала она.

Думала – со слезами на глазах, словно жалея об ушедшем, хотя о большей части тех событий жалеть не надо было: не было в них ничего хорошего, кроме страданий, одиночества, непонимания – ни себя, ни жизни своей, ни людей, в ней находящихся.

И подумала, что ветки жизни могут быть яркими, полными радостных событий, встреч, надежд. А могут быть – печальными, тусклыми, мрачными. Ветка может быть цветущей, радостной – а потом может стать сухой, безжизненной. Так у нее и получилось тогда.

«Та ветка моей жизни закончилась, – подумала Зоя. – Все ветки, веточки на ней выросли, каждый лист занял свое место, проявился, вырос, наполнился жизнью и отжил свое. И ветка стала безжизненной, просто – выросшая ветка на дереве жизни, с расходящимися мелкими веточками».

И пришло время другой ветки жизни.

Здесь, в этой квартире после развода остались они с дочкой вдвоем. И началась новая ветка другой ее жизни, – наполненной другой атмосферой, другими запахами, словно остались они в той же квартире, но переместились в иное пространство, в котором было свободно, светло, уютно.

Это была другая ветка. Действительно другая. Не было больше нервозности, напряжения, недовольства. Жизнь словно наполнилась энергией, постоянной радостью от новых возможностей: жить, быть, узнавать, пробовать новое, ездить, учиться чему-то, что раньше – даже в голову не приходило ей, напряженной отношениями и мечтающей о свободе от них. И дочь словно распускаясь, раскрываясь в этой свободе.

Здесь создали они свое новое пространство. Здесь принимали гостей – друзей взрослеющей дочери и ее, Зою, новых сотрудников.

Здесь собирались они с дочкой на дачу, в их деревенский дом. И сборы эти были всегда праздничными, волнующими, словно готовились они попасть в какой-то иной мир, отличный от городской жизни, со всеми городскими хлопотами-заботами, работой, учебой.

И так волновали их ночные поездки в поезде, в которых им всегда не спалось, и они долго пили чай, смотрели в темноту за окнами, со всполохами огней маленьких станций. Нравились им их ночные приезды на станцию: поезд стоял всего несколько минут и надо было успеть выйти со всей их – всегда немалой – поклажей.

Темный тоннель, ведущий к стоянке такси, на которой в любое время суток стояли частники, подрабатывающие на подвозе пассажиров в близлежащие деревни, словно был входом в эту иную жизнь.

А потом был путь по пустому шоссе, стоящему в обрамлении леса – зеленого, живого, величественного, в сфере фар – сказочно-прекрасного.

И дом их деревенский, терпеливо ждущий, впускал их в сени, проводил в маленькую горницу с белыми занавесками на окошках, с большой доброй плитой.

И они, уставшие, ложились спать и просыпались – в утро, в котором мычали коровы, в залитую солнцем комнату, которая была местом покоя и отдыха от городской их жизни – со всеми ее сложностями и наворотами.

А потом ждал их поход в магазин, мимо поля с россыпью молодых березок, которые с каждым годом становились все выше, крепче – и уже небольшой лесок рос вдоль дороги. И она думала, что березки эти – как ее дочка или дочь – как березки эти: не успела она, Зоя, оглянуться – как превратилась дочь в стройную, красивую, полную сил и жизни девушку, о своей жизни мечтающую, своей любви ожидающую.

А зимой по пути в деревню ожидали их заснеженные, заледенелые ветки сосен. И лес, освещенный фарами машины, словно бы проявлялся, показывался такой красивой, мощной стеной, что дух захватывало.

И ждал их холодный зимний дом, в котором, казалось, каждое бревно было ледяным, но они быстро топили печь, и дом отогревался, и теплые куртки, шапки, шарфы становились уже не нужны. Дом теплел, теплел, плита раскалялась, чугунные круги становились алыми – и начиналась их отпускная жизнь, и – другой мир, другой воздух, вода, еда.

Начиналась другая жизнь, в которой никому никуда не надо было спешить. И завтрак, приготовленный на печи, перерастал в приготовление обеда, для которого надо было принести воды из колодца, и выскакивать на холод в сени, чтобы взять привезенные с собой продукты. И масло, занесенное с мороза, резалось стружкой, ветчина походила на ледяной брусок, даже хлеб был подмороженный – но такой вкусный...

А вечерами пили они чай со всякими вкусами – долго, душевно...

И стояла тишина, в которой слышно было тиканье часов, треск горящих поленьев в печи и шелест переворачиваемых страниц: любили они с дочкой лежать рядышком на широких полатях у печи и читать – каждая свое...

А на обратном пути ждал их станционный буфет, в котором было всего четыре стола, по-провинциальному накрытых обычной клеенкой, стертой на сгибах от частого вытирания. Буфет этот тоже был частью их отдыха. И пироги, пышные, с толстым слоем теста, начинка в которых едва угадывалась, с чаем в граненом стакане – были привычным, приятным ритуалом, завершающим их выезд в деревню.

И удивительно было сейчас, вспоминая эти поездки – всего-навсего поездки в деревню – увидеть их наполненными чувствами, переживаниями, маленькими, но радостными событиями, увидеть в них маленькие ветки, из которых складывались большие ветки ее жизни.

А из таких вот веток – ответвлений в жизни – и состояла вся ее жизнь. И когда энергия их, фокус уходил от людей, поступков – жизнь уходила из этой ветки и перетекала в другую – новую, свежую, насыщенную, в других людей, встречи, события, поступки, чувства.

Другая ветка жизни брала начало – и росла, укреплялась, расцветала – и опять завершалась, когда приходил ей срок, уступая возможность прорасти другой ветке жизни – в других домах, городах...

Тогда, спустя несколько лет после развода, когда дочь ее подросла и начала выращивать свою новую ветку жизни, Зоя уехала жить к новому мужу в другой город. И началась другая ветка жизни.

Это была новая ее жизнь. В ней был новый ее дом в центре нового для нее города – старый сталинский дом, построенный еще пленными немцами.

Был уют нового города, в котором в радиусе одной остановки было все, что нужно ей для жизни: и рынок, и парикмахерская, и магазины, и кинотеатр, и ресторан, и химчистка. И нравилось ей жить, создавая свою новую жизнь – открывая для себя новый город, людей, возможности.

В этой жизни были ослепительные солнечные утра и необычная жара. Прогулки вечерами вдоль Волги и маленькие ресторанчики с живой музыкой. Утренние поездки на велосипеде по пустынным чистым, только что промытым улицам.

И она кричала, радостно встречая пустые от людей цветущие аллеи:

– Здравствуйте, травы и цветы!

Кричала, едва заведя среди зелени аллею реку:

– Доброе утро, Волга!

Здесь, в этой ее жизни, были сбитые от падения с велосипеда коленки, замазанные зеленкой, – словно стала она маленькой девочкой, открытой жизни. Были занятия танцами и поездки на реку.

И был теплый хлеб, который привозили в магазин у ее дома. И свежая рыба, и ведерки с ягодами, которые в течение всего лета не сходили с их стола. И был целый поток – нового ветра, запахов, пейзажей, людей, отношений с ними, с их жизнями, судьбами.

В ней была она – другая, новая, словно помолодевшая, сбросившая с себя весь груз прошлой жизни. Здесь она была такая, какой в той, предыдущей жизни была разве что в деревне – в короткое время пребывания в той, другой, жизни.

И нравилось ей быть такой – помолодевшей, энергичной, словно счастливое ее замужество стерло возраст и с души, и с лица ее.

И она так любила жизнь в этой новой семье, в новом городе, среди новых людей. И это была бурная, интересная жизнь. И уже скоро появились у нее любимые места, кафе, магазины. И любимое дело захватило всю ее.

А спустя несколько лет началась еще одна – новая ветка ее жизни, – наполненная творчеством, открытиями, общением. И она вернулась в этот город с его огромными площадями, пространством, возможностями и создавала сейчас другую – новую свою жизнь. Растила новую – мощную ветку своей жизни...

...Зоя все еще стояла на лестнице, как на застывшем эскалаторе, переместившем ее в тот период жизни.

И представилась ей жизнь прекрасным древом с густыми ветками, сильными листьями. И ощутила она себя стволом этого древа. Это из нее прорастали, вырастали все ее ветки. Из ее чувств, желаний, из ее поступков, из созданных ею событий, из встреченных ею, такой, какой она была, людей, из построенных ею с ними отношений формировались, росли ветки ее древа жизни.

И ветки эти – росли, менялись по силе, даже по окрасу листьев. Были на этом древе жизни веселые, яркие веточки, были – печальные, сухие с ломкими листьями. Всякое было. И все вместе это и было древо ее жизни. Из нее растущее. Ею выращенное. Дальше живущее – древо жизни.

На нем была ветка детства – пушистая, зеленая, с ее интересом к миру, открытостью жизни, со стремлением к учебе, ко всему новому, с детскими играми, с куклами и красками, с катанием на лыжах и купанием в реке.

Ветка юности – с любовью к учебе, с ростом и осознанием себя, с первой любовью и всем, что она приносит – радостью, сомнениями, счастьем, обидами, расставанием. И жизненные выборы – кем быть, чем заниматься в жизни.

Потом – ветка студенчества, с его молодостью, открыванием мира и себя в нем, с общением и дружбой, с любовью и предательством. С интересом и овладением профессией, которая на долгие годы стала любимым делом.

А дальше – ветка семьи, становление ее как женщины, матери.

И ветка новой любви ее.

И ветка творчества, самореализации, открытия себя.

И подумала с улыбкой: «Интересно, какие еще ветки появятся на моем древе жизни?»

И знала – дальше все будет лучше и лучше. Потому что она стала лучше, сильнее и мудрее и вырастить может что-то хорошее. И красивую, сильную, яркую ветку жизни может прожить...

– Да будет так! – произнесла она вслух и стала подниматься по знакомым ступеням...

Искупление

Больно мне, больно...

Они опять с утра поссорились. Да нет, не поссорились – они просто так жили. Просто ссоры были стилем их жизни.

Что он ей такого сказал? Что на полированном столе царапина от ее швейной машинки – ведь сто раз говорил, чтобы подкладывала какую-нибудь ткань или сложенное полотенце.

А она ему – мол, другие уже давно купили своим женам нормальные машинки, а она все на этой доисторической шьет. Вот Павел давно уже купил своей жене машинку с ножным приводом...

Так, слово за слово... Как всегда. Разве это ссора? Это их жизнь.

– Больно мне, больно... – сказала она вдруг. Только сказала как-то странно.

Она часто так говорила, кидая ему эти слова: «Больно мне, больно!..», прижимая руку к груди. И в каждом ее слове была боль, и в жесте руки, и в том, как она прижимала руку к сердцу, была боль.

А тут она сказала это каким-то безжизненным голосом, как голосовая запись на телефонной станции: «Московское время девятнадцать часов сорок восемь минут».

Каким-то мертвым голосом сказала она эту фразу и вдруг завалилась на бок, да так и осталась – с открытыми глазами и полуоткрытым ртом.

Он как сидел напротив нее за столом, так и остался сидеть. Он сразу понял: она – мертвая. И уже ничего нельзя сделать.

И так неожиданна была эта ее остановка – именно это слово почему-то пришло ему в голову в первую секунду. Как будто бы механизм, который работал, работал, вдруг сломался, остановился. Он даже не пошевелился, не сделал никакого движения к ней – просто сидел и смотрел на жену, осознавая то, что произошло.

Она умерла.

И совершенно трезвая и рассудочная мысль появилась в нем: наверное, в этот момент она видела свет в конце туннеля и поднималась туда, к свету. Наверное, сейчас начинался обратный отсчет ее жизни, он сам читал, что умирающие люди видят как ускоренную запись киноплёнки в обратном порядке, в которой пролетают годы их жизни. Они тогда тоже поссорились из-за этого. Он прочел ей об этом в какой-то газете, она поохала – вот ведь как, а он рассердился: и верит же она всякой чепухе!

Сейчас, сидя напротив нее, он подумал: наверное, это не чепуха. Наверное, в ее остывающем мозгу идут процессы остановки и все проносится, как обратный отсчет времени.

Он сидел, смотрел на нее, и его не удивляло собственное спокойствие. Он не был спокойным. Он был оглушен и этим ее «Больно мне, больно», сказанным таким безжизненным голосом, и тем, как она запрокинулась на бок и лежала теперь напротив него, как большая мертвая кукла. Он был так оглушен, что сидел и смотрел на нее, словно ничего не случилось.

И только одна нормальная, человеческая мысль родилась в нем: «Как же так? Как это получилось? Почему? За что?»

И в эту минуту в нем самом начался этот обратный отсчет...

Он вспомнил вдруг, как увидел ее впервые, еще молоденькой девочкой, и как тронула его тогда какая-то детскость в ней и незащищенность.

– Больно. Мне больно... – сказала она, когда он впервые, с силой, поцеловал ее. Сказала и потрогала свои по-детски припухшие губы.

– Мне больно, – приглушенно прошептала она, когда он впервые входил в нее.

– Мне больно, – говорила она и повторяла это снова и снова, с редкими промежутками, когда начались схватки, и она так боялась боли и своих первых родов...

В нем сейчас оживали эти ее слова, ее жалобы на боль как попытка понять, почему же она сейчас полулежит напротив него в такой нелепой позе, с открытыми глазами и полуоткрытым ртом. Лежит мертвая.

Он подумал, что не эти слова, которые говорила она тогда, привели ее сейчас к этому состоянию. Уже потом, позже, так часто он слышал от нее это: «Больно мне...», которое раздражало его, которое казалось ему притворством, защитой в спорах.

Он вспомнил вдруг одну их ссору. Обычную ссору, которых были тысячи, ссору ничем не примечательную, но сейчас почему-то именно она вспомнилась. Ему вспомнилось, как они поссорились из-за Сережи Тюленина.

– Кому сказать, – мрачно усмехнулся он, – нашли из-за чего ссориться...

Но тогда они действительно поссорились. Просто потому, что он пришел домой и рассказал ей, что его сменщик вычитал в какой-то газете, что, оказывается, именно Сережа Тюленин и был предателем, из-за которого погибли все молодогвардейцы.

Она возмутилась тогда, возмутилась как-то яростно, как будто этот Сережа был ее родственником. И стала горячо ему доказывать, что он был героем-молодоговардейцем и даже думать о том, что он был предателем, невозможно. А он тоже разозлился, потому что сменщик рассказывал об этом очень убедительно. И почему бы этому Сереже Тюленину не быть предателем?! Сколько раз бывшие герои оказывались предателями или вражескими шпионами...

На самом деле, это было неважно – был он предателем или не был. Но они завелись. Как всегда. Он доказывал свое, не слушая ее аргументов, она горячо доказывала свое. Доказывала, пока опять не схватила руку за сердце и не произнесла как заклинание свое:

– Больно мне...

Сколько их было, таких ссор? Бесчисленное количество. Сейчас, когда он сидел и смотрел на умершую жену, он понимал: ссоры эти были из-за пустяков. Но это сейчас они казались ему пустяками, а тогда каждому было важно отстоять свою точку зрения.

Они поссорились из-за стирального порошка, который она купила, а он обругал ее за расточительство, потому что считал, что можно было купить что-то подешевле. И она опять доказывала ему, что этот порошок лучше отбеливает и экономнее расходуется.

Они поссорились потому, что она не любила сразу после обеда мыть посуду, оставляла ее в раковине до вечера. И он горячо доказывал, что она дождется – разведет тараканов... Каждый раз она оправдывалась и доказывала свое. Но только он ее не слышал. И не слушал.

У него была своя правда. У нее – своя. И никак эти две правды не могли договориться.

Сейчас он сидел и удивленно, потрясенно думал: «Что я всю жизнь ей доказывал?..»

И такой глупостью показались ему все эти ссоры. Такими незначительными сейчас видел он все эти поводы для ссор, что он затих, как бы осознавая случившееся, его масштабы и эти мелкие, незначительные причины, которые привели к такому итогу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.